

## Падение суверенитетов: обратная перспектива

### Часть 2

Начало см.: *Актуальные проблемы российского права*, 2016, № 4, с. 24—39.

**Аннотация.** В статье дается анализ проблемы, которая всегда оставалась актуальной в правовой науке, — проблема суверенитета. Это понятие сопоставляется с другой его ипостасью — суверенностью, и в процессе диалектического противопоставления делается попытка выявить их общие черты и коренные отличия. Суверен как субъект суверенитета может иметь как личностную, так и анонимную форму, как индивидуальное, так и коллективное воплощение.

В статье подчеркивается фиктивный характер суверенной субъективности, свойственной эпохе, когда суверенитет значительно меняет свое содержание и сущность, — эпохе модерна. Этот процесс трансформации был отмечен такими мыслителями, как Федор Достоевский, Владимир Соловьев, Фридрих Ницше и др. Ложный или мнимый суверен, даже обладающий господством и властью, лишен истинной легитимности, которую для него не могут воссоздать ни общественное мнение, ни прямое насилие. Здесь не помогают ни мимикрия, ни манипулирование. «Два тела» короля распадаются надвое и уже не соединяются никогда.

Мнимый суверен возглавляет мнимое, «фантомное» государство. Субстратом этой государственности становится не народ, а «массы» — как особые образования, соединенные вместе скрепами внешней власти, насилием и идеологией. Суверенность, ассоциированная со свободой существования, поглощается силой власти, с которой она оказывается несовместимой. Внешний закон играет значительно более важную роль, чем внутренняя истина, на которой по традиции зиждилась справедливость.

Сама справедливость заменяется своей собственной метафорой, которую являет закон. Обезличенная сила закона, которая выражалась в волевом решении, не только ограничивает пределы суверенитета, но и заменяет его собой. Суверенитет как статус излучает суверенность как движение и динамику. Мнимости, столь характерные для эпохи модерна, вполне позволяют создавать «неправые законы», забываящие и об истине, и о справедливости, сосредоточенные только на целесообразности и эффекте. Из области права исчезают метафизические и трансцендентные положения, прежде связывавшие его с иными высокими внеправовыми инстанциями. Нормативизм становится господствующей идеологией модерна и современности, придавая праву и суверенитету совершенно новый облик и порождая неожиданные последствия для жизни правового государства.

---

© Исаев И. А., 2016

\* Исаев Игорь Андреевич, доктор юридических наук, профессор кафедры истории государства и права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

kafedra-igr@mail.ru

123995, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

**Ключевые слова:** суверенитет, суверенность, авторитет, легитимность, законность, субъект, личность, государство, правовая форма, норма, справедливость, истина, легальность.

**DOI: 10.17803/1994-1471.2016.66.5.011-023**

#### 4. «Политический романтизм» и его последствия

Для Вико и Гегеля существовало вполне реальное различие между эмпирическим человеком и здравым смыслом или мировым духом, творцом истории: ведь именно мысль творит историю. (Р. Козелек добавляет к этому предположению: «Язык обусловлен историей, а история обусловлена языком», и еще: «История не совершается без слов, но она никогда не совпадает со словами и не сводится к ним»<sup>1</sup>.)

«Гармония в неравенстве» складывалась в обществе, в котором хотя и существовало мнимое «государство», но еще не было монополии на легитимную власть к принуждению, т.е. в обществе с переплетением конкурирующих легитимностей, и гарантировалась символическим актом («клятвами»), который создавал правопорядок, безопасность и мир для определенного круга лиц. «Если право, безопасность и мир не были гарантированы сверху, т.е. по принуждению институтов власти, они могли быть обеспечены путем “заговора”: результат достигался путем договора и социального давления, которое мог оказывать такой конституционализированный договор, каким являлся статусный контракт»<sup>2</sup>.

В представлениях о тайной, осуществляемой за кулисами власти, которая сосредоточена в руках немногих и дает им возможность «со всеподавляющей злобой и незримо управлять человеческой историей», в таких конструкциях рационалистическая вера в осознанное господство человека над историческими событиями непременно смешивалась с демоническим страхом и фантазиями о таинственной общественной власти и спекулятивной верой в провидение: «Романтик видел здесь тему для своего интригующего и иронического натиска на реальность, радость от того, что существует еще некая тайная, уходящая от ответственности

и играющая людьми власть»: ведь даже сами «суверенные народы» оказывались только инструментами мирового духа, у трона которого они стояли как исполнители его осуществления и свидетели его величия, а индивид становился жертвой коварного разума<sup>3</sup>.

Проекция романтического субъекта в политическое, сверхиндивида, претендующего быть «предметом бесконечной любви», имела место уже у Новалиса, для которого государство — это «возлюбленная», «София», которое, однако, может быть и «сувереном», «национальной силой». Воспринимать этот объект чисто юридически было бы осквернением, ведь Новалис часто говорил о себе, что он ни капли не юрист, тем самым выражая свою антипатию к кантовскому юридическому рассмотрению этики.

Карл Шмитт был уверен, что в политическом романтизме отсутствует какое бы то ни было ощущение как границ действенности государства, так и «границ индивида». Однако в жизни ни одно общество не в состоянии обрести хоть какой-либо порядок без представления и понятия о том, что есть нормальное и что есть право.

Но нормальное — это совсем неромантическое понятие, поскольку вмешательство нормы разрушает здесь всю окказиональную несвязанность романтического: «Разумно упорядоченное государство — это не синтез анархии и деспотизма. Точно так же не являются романтическими и правовые представления как таковые. Ведь несправедливость с романтической точки зрения — это лишь некий диссонанс, который “эстетически растворяется в священной музыке, бесконечном чувстве высшей жизни”». Поэтому не может существовать ни авторитетного “романтического права” (вспомним неудачные попытки создания правового устава

<sup>1</sup> История понятий, история дискурса, история метафор. М., 2010. С. 58, 99.

<sup>2</sup> Эксле О.-Г. Действительность и знание. М., 2007. С. 144—145.

<sup>3</sup> Шмитт К. Политический романтизм. М., 2015. С. 146—147.

в “коммунитас” Франциска Ассизского, этого предшественника романтизма), ни последователей романтической этики: «Для сущности романтического все равно, романтизируются ли монархические или демократические, консервативные или революционные идеи — они означают только окказиональные точки привязки для романтической продуктивности творящего я»<sup>4</sup>.

Ядро политического романтизма — некое фантомное «государство» (не случайно воплощением этой идеи для романтиков была Священная Римская империя), которое есть произведение искусства и повод для продуцирующего это произведение искусства субъекта творческой деятельности: «для него само монархическое достоинство и величество основываются исключительно на “поэзии”. То, что гениальный субъект низверг с престола Бога, разумеется, было революцией, но поскольку романтик даже здесь оставался окказионалистом, только “духовной”, т.е. на деле эстетической революцией».

Если еще у Бональда встречается такое определение монархии: «монархия — подлинная система, потому что она сопряжена с абсолютным центром», то романтическое определение суверенитета уже целиком проникнуто окказионалистской неопределенностью. (Новалис дает наглядный пример романтической интерпретации политического: король представлен у него как «солнце в планетной системе», солдаты носят пестрые одежды, т.к. являются «цветочной пылью государства», «золото — кровь государства» и т.п.) Романтический политик этого типа — Дон Кихот (с которым, кстати сказать, отождествлял себя Эйхендорф) — способен видеть вместо высшей гармонии только различие между правом и несправедливостью, при этом делая выбор в пользу того, что казалось ему справедливым, но, в отличие от него, политические романтики Шлегель и Мюллер свой романтический легитимизм вообще черпали из полного отсутствия своего интереса к праву<sup>5</sup>. (При возникновении государства силу имели не точка зрения благоразумия, но импульсы героизма: вера, что есть «нечто более высокое, чем суверенитет от-

дельного лица, благоговение перед смертью, преклонение перед чем-то духовно превосходящим и победоносным, восторг воплощенной встречи со своим идеалом» (Ницше).)

Мальбранш видел только в Боге некий артикулированный, определенный и всеобщий порядок, осуществляющийся в совершенной гармонии, в нем закономерный характер имело даже проявление благодати: здесь личный Бог превращался во всеобщий природный порядок. «Политическое делание» в этой системе политического мышления находилось только на некоем низшем уровне: Берк, де Местр и Бональд испытывали настоящее отвращение к какому-либо «деланию в политических вопросах», к искусственным, расчисленным ловким индивидом законодательствам, к «изготовителям конституций и политическим геометрам». Они полагали, что причина всего историко-политического процесса заключена в наиндивидуальной власти, эта причина есть казуальное объяснение, нормативное оправдание и легитимация одновременно.

Изменчивость политического содержания неслучайна, ведь она является следствием окказиональной позиции и обосновывается самой сутью романтического, ядром которого является пассивность (Карл Шмитт). Политическая же активность, будь то голая техника завоевания, расширения политической власти или же казуистическое обоснование правовых или моральных решений, противоречит эстетической природе романтизма: он непременно осуществлял уклонение из области противоречия (политического) в некую высшую реальность, демонстрируя свою абсолютную пассивность.

Там же, где начинается политическая активность, иссякает политический романтизм. Ведь он не есть обычная иррациональность мифа, поскольку творение политического мифа само возникает именно из политической активности, а его доводы являются только эманацией некой политической энергии: «Только в настоящей войне возникает миф» (К. Шмитт). Политический же романтизм не допускает никакого деятельного вмешательства в действительность — для него было бы вполне доста-

<sup>4</sup> Шмитт К. Политический романтизм. С. 216—217, 281—282.

<sup>5</sup> Указ. соч. С. 177, 257.

точно одного только «участливого мышления», вся политическая активность здесь смещалась от индивидов к правительству, от правительства к Богу, а Бог уже есть окончательное предопределение и закономерность<sup>6</sup>.

Субстанциональное бытие, застывшее и самодостаточное, установившееся как ценность, есть симптом захвата власти «болезненными силами». Власть теперь не будет уже первопринципом, сама воля к власти разрушает этот принцип: «Сила по природе своей требует, чтобы была нарушена сохранность любого достигнутого уровня, <...> она все время переступает через край этого уровня, по необходимости возрастая... Воля к власти предстает как принцип неуравновешенности для всего, что хотело бы еще длиться, исходя из известной ступени — идет ли речь об обществе или индивиде» (Пьер Клоссовски). Воля к власти интерпретирует, устанавливает границы, определяет степени различия во власти<sup>7</sup>: она не может существовать без границ, которые сама же так жаждет преодолевать.

В становлении закономерность и непогрешимые истины всегда только «равные пути правды» для эриний, преследующих каждое преступление законов. Весь мир как трагедия, в которой действует правящая справедливость и подчиненные ей силы природы, демоническое вездесущее — все это оправдывает процессы становления: «Где правит несправедливость, там произвол, беспорядок, неправильность, противоречия. Там же, где царствуют закон и правда, там не место греху, пеням, осуждению». Для того чтобы становление окончательно не прекратилось, первичное вещество должно быть неопределенным: вечность и бессмертие этого вещества состоят не в бесконечности и неистощимости, но в том, что оно лишено определенных качеств, ведущих к гибели<sup>8</sup>. (Применение права способно порождать значения и функцией права, главным является «не разрешение конфликтов, а их воспроизведения и перевод для последующего разрешения в определенное русло» (Никлас Луман).

Закон при этом остается только формой, независимой от объекта и содержания, которые от него ускользают.)

Если де Местр говорил о непредсказуемом действии провидения, то Адам Смит уже более сдержанно — о секуляризованной «невидимой руке», которая всегда приводит к результатам, полностью противоположным тем, к которым стремились: непредвиденные последствия реформационных действий в отношении государственности могут выразиться даже в ее полном разрушении, и по сути «это беспокоящее стремление к изменению существующей в государстве формы правления есть как бы нарушение первой заповеди Бога» (Гоббс). Всякая попытка реформы в таком случае будет обречена на неудачу: перемены же остаются только фасадом, поверхностью и прикрытием, сама она будет иллюзорной, тогда как глубинные структуры общества останутся полностью незатронутыми, ведь и «Великая революция» не являлась столь уж резким разрывом со «старым порядком» (А. Токвиль)<sup>9</sup>.

И все-таки всякое политическое действие, хотя бы имеющее зримую и более или менее определенную форму, предпочтительнее, чем колебания и нерешительность: важен не столько результат действия, сколько форма, придающая ему статус. В романтическом культе героя всегда подчеркивались зримость и великопение: идея драматической альтернативы между надвигающимся хаосом и решительным выбором в пользу формы в этой ситуации создавала конфликт: по одну сторону которого — мысль, размышление, язык, а по другую — «действия как утверждение сущего» (Анри де Монтерлан)<sup>10</sup>. В ситуации, когда исчезают нормы и люди не могут более нести ответственность за свои действия, единственный жест, имеющий смысл, — это противопоставить хаосу действие как форму сопротивления. Но и сам поиск нормативных форм и функций угрожает породить как раз то, чего он так боится, — хаос, вырастающий из неизмеренности и безудержности.

<sup>6</sup> См.: Шмитт К. Политический романтизм. С. 150, 359.

<sup>7</sup> См.: Делез Ж. Ницше. СПб., 1997. С. 170—171.

<sup>8</sup> Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху Греции // Философская проза. М., 2000. С. 181—184.

<sup>9</sup> См.: Хиршман А. Риторика реакций, извращение, тщетность, опасность. М., 2010. С. 23—27.

<sup>10</sup> Цит. по: Гумбрехт Х. У. В 1926 году : На острие времени. М., 2005. С. 305.

В действительности же именно хаос является «первоплазмой активности», возбудителем ужасных плазматических сил (Ницше). Повсюду и вокруг обнаруживаются сплошные фикции, кажимость и воображаемое. Истинный мир — это лишь «второй» видимый мир, характер которого образует и формирует перспектива, т.е. относительность. Видимое — это истинное только для нас, но и «истинный» мир, и видимый мир оба суть только фикции, фиктивные миры. Мир же в целом — это «активная и реактивная игра», в действительности существует одна только видимость, а сам рас­судок является только «око­стене­вшей способностью воображения».

Продукт политического действия — отнюдь не результат, который можно было бы оценить по моральным стандартам (вспомним слова Гете, что «действующий всегда аморален»), но скорее эмоциональный опыт, «о котором можно судить лишь в эстетических и эмоциональных терминах. «Благодаря перемещению в эстетическое, моральное по сути понятие автономии совершенно изменяется и все подобные различия устраняются: поэтому у каждого романтика можно найти примеры как «анархического самоощущения, так и чрезмерной потребности в общении»<sup>11</sup>.

Согласно Лютеру, революция не устанавливает нового секулярного порядка, но лишь постоянно раскачивает основу всех мирских норм, максим и установлений. Понимание революции связано с идеей открытия нового этапа истории: и главным в нем является соединение идеи свободы с опытом начала чего-то нового. Как и государственный переворот, революция всегда связана с насилием, а идея неодолимого движения (революция долгое время казалась аналогом закономерного движения небесных тел) в XIX веке превратилась в идею исторической необходимости.

В ходе революции становилось очевидным, что не мысль, а именно «практика и исполнение по-настоящему может являться новым». Истинная революция XIX века — революция модерна — заключается в радикальной деструкции очевидного, в «разволшебствовании его и погружении в насилие интерпретации и

истории» (Жан Бодрийяр). Революция устанавливала права и законы не для «ветхого» человека из плоти и крови, живущего в определенной политической и социальной среде, а для какого-то абстрактного «человека в себе», вообще-то считаясь с человеком только потому, что он «гражданин», а не потому, что он — «я». Она же поглотила и все промежуточные власти, прежде стоявшие между индивидуумом и центральной властью, все сосредоточив у центральной власти, которая от этого стала только еще мощнее и деспотичнее. Эта центральная власть стала представляться как осуществление права всех, а конституционный король представляет собой лишь идею. Коллективный же суверен, свергнув своего персонафицированного предшественника, распадается на множество деспотичных волей. «Закон есть проявление воли, приказ, авторитет. Государство немисливо без деспотизма, один ли деспот или их много, как в республике, где все господа, т.е. один господствует над другим, — безразлично». В любом случае обязанность парализует волю личности, она ее ослабляет (Макс Штирнер).

Если политические мифы побуждают готовиться к борьбе с тем, чтобы разрушить существующее, то утопия всегда направляла умы к реформам, которые могут быть осуществлены при распаде системы. «Миф невозможно опровергнуть, т.к. он, по сути, тождествен убеждениям данной группы, является выражением этих убеждений на языке движения, а значит, неразложим на части, которые можно было бы использовать в плане исторических описаний». Утопия же, напротив, может обсуждаться, — как и при всяком умозрительном построении общества ее формы и предполагаемое ею «автоматическое движение» можно сравнивать с теми, которые действительно имели место на протяжении реальной истории и тем самым оценивать ее правдоподобие<sup>12</sup>.

Анархисты, считающие себя свободными, хотя отвергают подчинение произвольным законам и при этом не замечают, что, не будучи моральными, законы и все виды принуждения тем не менее не составляют какой-то полной противоположности произволу: «Все

<sup>11</sup> Шмитт К. Политический романтизм. С. 280.

<sup>12</sup> Сорель Ж. Размышление о насилии. М., 2013. С. 50—51.

свободное, тонкое, смелое, легкое, уверенное в себе, существующее... в сфере управления... развивалось только благодаря тирании этих произвольных законов», и в этом-то и состоит их природа и естественность, а не в абстрактной полной свободе; она состоит в том, чтобы приказывать, размещать, располагать, свободно творить, повинувшись вдохновению, поэтому она и повинуется законам, которые в силу их твердости и точности не поддаются формулировке только посредством понятий<sup>13</sup>: «Ты должен подчиняться кому бы то ни было, иначе ты приготовишь себе погибель», — утверждает Ницше. (Боден не допускал возможности существования суверенной диктатуры: даже там, где закладываются основы новой государственной организации, предполагалось, что пост суверена уже учрежден и уже существует. При любой реорганизации государства, любой реформации приходится прибегать к услугам экстраординарных уполномоченных, или «комиссаров», ради наведения порядка. Если статусные чиновники действуют на основании закона, то «комиссары» действуют в соответствии с приказами и указами. Такая диктатура складывается из рационализма, техницизма и приоритета исполнительной власти<sup>14</sup>.)

### 5. Вождь и масса: кто суверен?

Масса — тот самый аноним, который задает направление всем политическим событиям, одновременно являясь и объектом этого движения: сама масса находится в непрерывном и изменчивом движении, пронизанном загадочной механической закономерностью. Историческое и механическое движение здесь как бы встречаются и идут параллельно, формируя все более строгий автоматизм (Ф. Юнгер).

Из «эвдемоническо-социального» идеала масс рождается идеальный «раб». Сама же масса неизбежно возвращается к породившей ее стихии, демонстрируя механическую сторону необходимости, возвращается в состояние, где уже нет ни истории, ни судьбы. Ее путь лежит от историчности к стихии, в которой она хочет раствориться и сбросить бремя всех форм.

Но формы есть нормы. Масса желает избавиться от страданий и трагедии, хочет жить без боли, в наркотическом состоянии блаженства; человек желает раствориться в безыдейной машинерии, ожидая от нее исполнения своих чаяний.

И вождь должен ему это обещать. Опасность заключена в том, что вождь-актер тем самым развязывает непрогнозируемые уничтожающие движения, выходящие за пределы исторического измерения и приобретающие характер катастрофы: «Массовая жажда смерти усиливается по мере образования масс...»<sup>15</sup> Перепад неравенства всегда предполагал качественное различие, различие же создавало сами перепады. Но отныне господствующим принципом становится равенство. Масса — это «человек без тела»: там, где больше нет перепадов, и возникает масса с ее механизированными формами существования. Организация — вот сумма тех мер, которые доводят процесс нивелировки до нулевого уровня. (Флобер говорил, что «массы всегда тупы, непригодны и незрелы», и Ницше считал народное волеизъявление только высшим выражением «стадного инстинкта»; Ибсен иронически заметил, что «глупые люди составляют страшное, подавляющее большинство на всем земном шаре». На стороне этого большинства присутствует сила, но не право, ведь только меньшинство всегда право. Густав Лебен в своем исследовании толпы говорил, что демократия все больше будет превращаться в правление бюрократии, которая сама есть «жертва иллюзии, заставляющей думать, что умножая законы, она лучше всего обеспечит равенство и свободу».)

Революционный террор рождался вовсе не тем фактором, на который указал Гегель, — не преступным нетерпением, которое испытывает универсалистская этика при столкновении с помехой единичных данностей, он рождался из подозрения, что «каждое отдельное сознание может достигать всех вещей», что те же самые поступок или суждение, которые, казалось бы, имеют всеобщую значимость и стремятся законодательствовать «во имя общества свободных существ», могут быть

<sup>13</sup> Фулье А. Ницше и имморализм. М., 2006. С. 159.

<sup>14</sup> См.: Шмитт К. Диктатура. СПб., 2005. С. 30, 58.

<sup>15</sup> Юнгер Ф. Ницше. М., 2001. С. 235—235.

инспирированы низменными эмпирическими интересами и единичными страстями<sup>16</sup>. Якобинская подозрительность к автономной и суверенной личности питала диктаторские тенденции в самом менталитете массы: общая идея уравнивания предполагала сделать безличный закон и высшим арбитром, и высшим сувереном. Чем сильнее был террор, тем крепче были убежденность и сила отождествления с ним. Колебания и сомнения приравниваются к измене.

Слишком высокая степень равенства необходимо и драматическим образом приводила к диктатуре, при которой масса уже не нуждалась в репрезентации и мнимо отождествлялась со своим собственным руководством. Но единичный человек — никак не вождь масс; сегодня руководство ими взял на себя ложный актер: он только подражает и его искусство является искусством воспроизводства. Он сам делается только средством действительности, которой он же и подражает: очутившись в массе, актер покидает свой камерный театр, уходит в бескрайний мир, чтобы уже из него сделать театр: в ситуации беспочвенности именно актер занимает доминирующее положение. Заратустра говорил: «В мире самые лучшие вещи ничего не стоят, если никто не представляет их; великими людьми называет народ своих представителей».

Теперь все взоры обращены к неподлинному, подражанию и имитации. Представитель — это тоже вид ложного актера: «Признак человека, который действует уже не спонтанно и активно, а лишь реагирует на действия, состоит в том, что он везде нуждается в представителях, а признак представителя — в том, что для того, чтобы действовать, он нуждается в реакциях. Над массой всюду господствуют и служат ей только ложные актеры»<sup>17</sup>.

«Где народ цел, там нет идеологии», и это был признак цельного типа, ему не нужен был нечистый воздух идеологии. Но зато актер-идеолог сам изобретает его с готовностью, ведь это одна из его жизненных потребностей: «Идеологический нигилизм господствует над XIX веком и стремится все заковать в свои

системы». Все экстремисты и радикалы суть актеры, поэтому и все вокруг оказывается отравленным.

Равенство служит тем основанием, которое необходимо для сведения к плоскости. Она составляет абстрактный принцип, благодаря которому осуществляется и революционная работа, ведь и ее задача — устранение типа. Равенству соответствует такой же абстрактный принцип единства, однообразия: это — статус, в котором всегда пребывает масса. Нулевой уровень, к которому «ведет нивелирование, есть точка, в которой происходит “алхимическое” превращение: именно по мандату масс и никак иначе наступает диктатура — она обнаруживается в начале движения, чтобы создать для него пространство, и в конце — чтобы создать желаемое состояние минимума: «Стремление к равенству реализуется в некоем централизме, который работает одновременно по вертикали и по горизонтали» машинально, организационно и бюрократически. На первый план выступает компактная масса, скученная на небольших пространствах. Вождь массы репрезентирует ее, и масса реагирует только на актера, только он вызывает ее реакции, он ее идол и герой<sup>18</sup>: ясно, что высокая степень равенства неизбежно ведет к диктатуре.

Но равенство — базовая фикция «фантомного» государства. Равенство субъектов, как индивидуальных, так и коллективных, провозглашается, но как оказывается не может быть реально достигнуто. Юридическое равенство основано на идеальной норме, сама же норма рождена по решению власти и запрет ее нарушения означает авторитарную санкцию для признания демократического равенства. На помощь приходит диктатура.

Сущность диктатуры заключена в возможности и способности отделять нормы права от норм осуществления права. «Диктатура, которая не связана зависимостью от отвечающего нормативному представлению, не достигаемого в конкретных обстоятельствах успеха, которая... не стремится к тому, чтобы сделаться излишней, есть произвол и деспотизм». Всевластием процедуры, нацеленной на достиже-

<sup>16</sup> Лиотар Ж. Ф. Постмодерн. М., 2008. С. 97.

<sup>17</sup> См.: Юнгер Ф. Указ. соч. С. 213.

<sup>18</sup> Юнгер Ф. Указ. соч. С. 221—228.

ние результата, диктатура приведет к упразднению существующего правового порядка, и путем вмешательства в причинно-следственный ход событий: диктатор действует как настоящий «комиссар действия»<sup>19</sup>.

После распада «Священной Римской империи» романтическая мысль политиков сосредоточилась на идее воссоздания империи не как результата реального политического действия, но как духовно-культурного акта. Субъектом государственного творчества теперь должна была стать нация, сама порождаемая особым чувством «фантомной боли», ощущением национального. Но существовали еще и некие тайные узы влечения и родства между отдельными формациями и чем-то единым, неделимым и вечным. Когда эти узы смыкались, рождалась таинственная сила откровения, обладающая высшим правом, которая сметала все частные границы и достигала своей вершины в единстве высшего типа (Юлиус Эвола).

Последний проблеск «духовной империи» имел место при Гогенштауфенах, полагал Эвола, позже на смену империям пришел вульгарный империализм, при котором не осталось ни одного государства, которое представляло бы собой нечто большее, чем временную, партикулярную, национальную и, наконец, социальную и плебейскую организацию.

Но с крушением национальных государств приходит время этого неприкрытого империализма и начинается борьба за господство над Землей. Ницше оказался чужд культ национального государства и такая политика представлялась ему только одним из «победоносных средств отупления». «Соглашения европейских государств остаются в силе, пока есть принуждение, которое вызвало их к жизни». В реальной жизни крупные государства поглощают мелкие, государство-монстр поглощает крупные государства и затем все разлетается на части, поскольку этому гиганту не хватает сдерживающей силы соседей. Борьба же общества внутри себя чревата болезненным привыканием к войне. Теперь признак великого заключен уже не в способности приводить массы в движение, он состоит в непо-

средственности, в некоем ранговом и статусном различии — но не в действии, хотя бы оно и потрясло мир<sup>20</sup>.

## 6. Закон как метафора справедливости

Форма как таковая есть самая древняя «норма», а интерпретирующая ее метафора есть «определение-образ». Мысленное, или «фантомное», государство, по Гегелю, в системе государственного права и государственных законов умозрительно представляло прямую линию, а то, в чем это мысленное государство должно было быть реализовано, обретало форму окружности. При этом такая окружность не создавала непреодолимой несоизмеримости с прямой линией фактически, так как сама она не прибегала к каким-либо формам насилия, беззакония или произвола. Более того, ее существование в качестве «линии, несоизмеримой к прямой», как раз и было возведено в право: она «действовала в соответствии с правом, вступая при этом в противоречие с государственным правом, действовала законно — вступая в противоречие с государственными законами».

Сущность обоих принципов (легальности и моральности) составляет не абстракция, а жизненность нравственного: естественному праву дано в качестве его сущности формальное и отрицательное, морали же — абсолютное и положительное, считал Гегель<sup>21</sup>. За правовой нормой всегда присутствует норма моральная, познать которую не удастся с помощью только логики или анализа детерминанты: необходимым здесь представляется переход с понятийного уровня на уровень образный и метафора играет здесь определяющую роль.

Вико одним из первых признал за метафорой собственное право на познание. «Логика фантазии» позволяет именно метафоре познать мир. Сама же метафора вовсе не есть истина и имеет ту же структуру, как и то, против чего она направлена: «Механизм метафоры как бы приручает чужое». Это свидетельствует об исключительной способности метафоры к приспособлению и посреднической деятельности, особенно там, где «суждение вообще не

<sup>19</sup> Шмитт К. Диктатура. С. 16, 29.

<sup>20</sup> См.: Юнгер Ф. Указ. соч. С. 227—229.

<sup>21</sup> Гегель В. Ф. Конституция Германии. С. 108—109.



может прийти к цели из-за своего притязания на идентичность или потому, что его предмет предъявляет чрезмерные требования к методу», оказываясь слишком обширным — «мир», «жизнь», «история», «закон»<sup>22</sup>. Метафоры не воспринимают в себя существующие сходства, но сами же их и создают: они ее демиургические инструменты. В этой связи Вико говорил об «инстинкте создания метафоры», и с этим вполне соглашался Ницше.

Когда Достоевский и Ницше заметили, что «Бог умер», они посчитали, что непосредственным следствием этого события должно стать превращение человека в некоего монстра. И для такого героя без стоящих перед ним задач и свойств появилось самое «суровое испытание *misterium bureaucraticum* вины и наказания». В нем мистерия обрела свое церемониальное завершение, это — мистерия без спасения и без искупления, где вина и наказание интегрированы в самом человеческом существовании, в котором уже нет ничего потустороннего и которому нельзя придать хоть какой-то внешний смысл: «В нем есть мистерия с ее непостижимыми жестами, с ее таинственными формулировками, но она уже до такой степени растворена в человеческой жизни, что теперь полностью сливается с ней, не оставляя в ней ни проблесков потустороннего света, ни какой-либо возможности правосудия»<sup>23</sup>.

Метафорический характер нормы имеет древнейшие истоки в поэтической юриспруденции Востока и Запада, а сакральные черты закона сохраняются в скрытом или тайном виде и в современную эпоху: «поклонение закону» — базовый догмат всякого правового государства. Вместе с тем относительность истины и авторитета, закону присущие, позволяют нередко толковать его именно в этой специфической форме метафоры, а сама конструкция суверенитета как основывающегося на «двух телах» короля своей метафоричностью обуславливала статус нормативности, которая обеспечивала одновременно как всевластие, так и ограниченность законодательных прерогатив суверена.

Кант заверял: «То, что наши ограниченные умы видят как возмутительные нарушения, с точки зрения бесконечного разума Бога является составляющими элементами всеобщей гармонии». Когда мы приближаемся к закону слишком близко, его совершенное величие превращается в непристойную отвратительную чудовищность. Закон больше не рассматривается как зависимый от добра, напротив, само добро сделали зависимым от закона. Он уже не основывается на некоем высшем принципе, наделяющем его властью, теперь он самообоснован и правомерен в силу собственной формы.

Уже у Канта объект закона непостижим и неуловим, он функционирует, так и не будучи известен. Субъект знает, что существует закон, но ему неизвестно, каким этот закон является. Поэтому уже в силу факта своего существования субъект оказывается виновным, даже не зная, в чем заключается его вина, преступающим закон, не зная его точных постановлений. Закон определяет область нарушений, где субъект уже виновен, где он нарушает границы, даже не зная, где они проходят (как в случаях с Эдипом и Кафкой). Даже вина и наказание не объясняют закон и оставляют в состоянии неопределенности, приравненной только к крайней специфичности наказания (Жиль Делёз)<sup>24</sup>.

Де Местр часто повторял, что «законодатель подобен Создателю», он не работает постоянно, не покладая рук, он творит и затем отдыхает. Законодатель вынужден вмешиваться, только если что-то в созданных им законах портится, и чем больше наличествует в его законодательстве сугубо человеческого, тем чаще он, таким образом, вынужден вмешиваться: творчество законов — показатель человеческого несовершенства. Действия людей, направленные вопреки божественным установлениям, ведут лишь к тому, что они, сами того не сознавая, ускоряют собственное падение и соответственно торжество подлинных законов, подлинной «неписаной конституции», сформулированной в божественном или естественном праве<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> См.: Цилл Р. Субструктуры мышления // История понятий, история дискурса, история метафор. М., 2010. С. 176—179.

<sup>23</sup> Агамбен Д. Костер и рассказ. М., 2015. С. 27.

<sup>24</sup> Цит. по: Жижек С. Чума фантазий. Харьков, 2012. С. 352, 364.

<sup>25</sup> См.: Шмитт К. Политический романтизм. С. 357—358.

Чтобы избежать подобной ошибки, древние говорили не столько о всевластии закона, сколько о «правом пути» к благу, тому пространству, откуда первоначально эти законы проистекают. Но платонизм, провозгласив идею главной инстанции жизни, подготовил почву для развития идеологии суждения, в которой логика суждения стремилась установить критерии истинных идей.

Христианство превратило суждение в главный закон жизни и орудие господства над жизнью. Именем этого истинного трансцендентного мира судится всякое, всякое почитание, всякий росток и всякий орган мира, «трансцендентный закон распространяет свою власть на все возможности органического, имманентного существования. Человек подсуден трансцендентности не потому только, что подлинное царствие его переносится в бесконечность, тогда как конечное, “здешнее”, “теперешнее” существование представляется чем-то вроде отсрочки перед жизнью истинной», но и потому, что земная жизнь отравляется неизбежным сознанием неоплатного долга по отношению к трансцендентности (Жиль Делез)<sup>26</sup>. (Но такая мистика, не воплощающаяся в дело и только ожидающая прихода «нового царства», легко и часто вырождалась в вульгарную мечту о даровом богатстве, о «хитрой науке». «Связь между усыплением народного духа и торжеством “воровской утопии” (Евгений Трубецкой) очевидна»: где светлые силы дремлют и только грезят, там темные силы действуют и разрушают, страна оказывается в положении человека, которого обворовали в глубоком сне<sup>27</sup>. Искателей чудесного манит сама неизвестность искомого, отсюда и странное преклонение перед «мудростью незнания», идущее еще от Сократа.)

Природный закон питает суверенность, человеческий закон чертит границы суверенитета. Софисты были настоящими «модернистами» и декадентами для греческой политической культуры, и Ницше слишком хорошо знал эту культуру как филолог, чтобы противостоять ее влиянию на современное мышление. Переоценка всех ценностей производилась еще софистом Каликлом: «Мы воспитываем самых

лучших и сильных среди нас... словно львят, и приручаем их заклинаниями и ворожбой, внушая, что каждый должен довольствоваться равным с другими и что именно это — прекрасно и справедливо». Когда же появляется человек с действительно сильной природой, то он стряхивает с себя все эти предписания, волшебство и чародейство как противоречащие природе законы, он оказывается «господином». Для этой точки зрения закон — искусственное ограничение, договоренность организованных слабых: с целью сковать и принудить своих естественных господ, сильнейших выполнять свою волю. Природное право вступает в острый конфликт с человеческим.

Этот последний воспринимается только с внешней стороны, и не как запечатленный внутри человека образ мыслей, а как угрожающий барьер, который не дозволено переступать. Но если внутренней обязывающей силы у закона нет и справедливость — лишь внешняя лояльность поведения, позволяющая избежать наказания, то такой закон не будет выполняться искренно.

Нормой же природы, даже и в отсутствие свидетелей, нельзя пренебрегать безнаказанно: «Здесь нужно оглядываться не только на “видимость”, но и на истину». И Аристотель говорил, что для государства лучше иметь плохие, но прочные законы, чем постоянно меняющиеся, даже если они оказались хорошими<sup>28</sup>. Мнение, даже мнение большинства, никоим образом не ведет к истине: истина не рождается в споре, она просто-напросто существует сама по себе.

Законодательство Заратустры уже по существу фиктивно: его законодательство обращено не ко всем, а только к некоторым, не к народу, а к избранным. Законодательство есть признак господства над другими, и за невозможностью создать единое законодательство Ницше прямо заявляет: «Заратустра есть герольд, который вызывает множество законодателей». Но множество законодателей, из коих каждый законодательствует только для себя, означает отсутствие какого-либо законодательства. Но и закон нужен для того, чтобы вызвать противо-

<sup>26</sup> Делез Ж. Указ. соч. С. 181.

<sup>27</sup> См.: Трубецкой Е. Н. Иное царство и его искатели // Избранное. М., 1995. С. 429.

<sup>28</sup> Йегер В. Пайдейя. Т. 1. М., 2001. С. 377, 383.

речия: «От меня должен исходить закон, как будто я всех хочу пересоздать по моему образу, дабы в борьбе против меня личность познала себя и окрепла... В конце концов Ницше так и умер с неразрешимым вопросом: “какой смысл заключается вообще в издании законов?”» («Так говорил Заратустра»)<sup>29</sup>.

Идеология суждения тем самым являла собой и претендовала на власть судить все и каждого именем какого-то невидимого закона, даже если тот в ходе применения упрочивал свою очевидность: из этого следовало, что отнюдь не благо определяет законы, но закон — благо. Идеология суждения уже у Аквината и Кузанца трансформировалась во «всеобъемлющую метафизическую машину, которая хотела контролировать и организовывать всякое движение физической жизни: от суждения удалось уклониться разве что имманентности и “телу без органов” (термин, введенный А. Арто в эстетику), не представляющему собой организма или иерархии, феноменам, которые упорно противились любому уровню организации власти»<sup>30</sup>. При этом «тело без органов» могло означать как народ без государства, так и государство без территории, пустое пространство или территорию без населения, — во всяком случае, и такой субъект должен был быть хотя бы соотнесен и сопоставлен с некоей властной структурой, опять-таки выносящей суждение: отсутствие властного центра («головы») лишало тело жизнеспособности.

Аморфное состояние проистекало из архаического смешения публичной и частной сфер существования, напроць снимая проблему суверенитета и неправомерно отождествляя свободу с суверенностью. (Бенжамен Констан в ретроспективе различал свободу у древних и свободу у современных людей: у древних она выражалась в активном участии граждан в общественных делах, свобода же современных граждан приняла форму права на достаточное частное и конкретное пространство. Якоб Буркхард развивал эту идею: «Слово “свобода” звучит красиво, но о ней не должен говорить тот, кто не видел и не чувствовал своего бессилия перед громогласной толпой, называемой “народом”. Я слишком хорошо знаю историю,

чтобы не ожидать от деспотизма толпы ничего, кроме тирании, приход которой будет означать конец истории».)

Истории же, чтобы она могла вновь встать на службу жизни, «следует перестать быть наукой» (Ницше): надисторическое отвлекает внимание от процесса становления и переводит его на то, что вечно и значение чего не меняется. Такая аналогия может быть перенесена и в правовую область — существует некий потенциальный «идеальный», «долженствующий быть» закон и закон в действии, в форме правоприменения, в форме акта. И, как это ни парадоксально, познаваем идеальный и вечный закон (хотя непознаваемы созидающие его факторы), а непознаваемы будущие результаты закона действующего и становящегося.

Романтическое восприятие отвергло юридическое как нечто для себя тесное и механическое и искало государства, возвышающегося над правом и несправедливостью, т.е. такой исходный пункт для чувств, который стал бы адекватной проекцией самого романтического субъекта в политическое: еще Адам Мюллер говорил с нескрываемым пренебрежением о «машине законов», поэтическая красота и легитимность никак не связаны между собой, а романтический эстетизм порождал в сфере политического какой-то «вечный разговор, настоящий культ субъективного обмена мнениями» (К. Шмитт). (Центральным пунктом романтического мышления была критика главной темы социальной философии Просвещения — правовой фигуры договора: «Романтическая критика архетипической схемы договора всегда ориентировалась на неизбывную полярную противоположность индивида и общества».)

Мнение (суждение) всегда свидетельствует о породившем его знании, но отнюдь не само знание приводит в действие и движение коллективного субъекта, но свобода с ее самообоснованностью: историческая эпопея коллективного субъекта — это его вечная борьба за освобождение от всего того, что ему мешает. «Законы, которые он себе формулирует, справедливы, но не потому, что они соотносятся с какой-то внешней природой, а потому, что

<sup>29</sup> См.: Трубецкой У. Философия Ницше. М., 2003. С. 465—466.

<sup>30</sup> См.: Делез Ж. Указ. соч. С. 179—182.

законодатели сами состоят из тех же граждан, подчиняющихся этим законам, а отсюда и воля гражданина, желавшего, чтобы закон творил правосудие, вполне совпадает с волей законодателя, желавшего, чтобы правосудие творило закон»<sup>31</sup>. И легитимность уже знания заключена в том, чтобы дать возможность нравственности стать действительностью. (Все персонажи кафкианского «Процесса» обязаны

знать закон, и не имеет значения, применим ли он и действителен ли на самом деле. У Кафки суверенность поглощается господством, а мораль исчезает за нормативными нагромождениями законодателей: более точного ощущения прихода современности в человеческий мир трудно найти. И речь священника в соборе, выносящего последний приговор, напоминает по тональности речь Великого инквизитора.)

*Окончание в следующем номере.*

### БИБЛИОГРАФИЯ

1. Агамбен Д. Средства без цели. — М., 2015.
2. Батлер Дж. Психика власти. — СПб., 2002.
3. Гвардини Р. Конец Нового времени // Феномен человека. — М., 1993.
4. Гегель В. Ф. Конституция Германии // Политические произведения. — М., 1978.
5. Губрехт Х. У. В 1926 году : На острие времени. — М., 2005.
6. Гурвич Г. Социология права // Философия и социология права. — СПб., 2004.
7. Делез Ж. Ницше. — СПб., 1997.
8. Касториadis К. Воображаемое установление общества. — М., 2003.
9. Кожев А. Введение в чтение Гегеля. — СПб., 2003.
10. Кожев А. Очерк феноменологии права // Атеизм. — М., 2007.
11. Кьеркегор С. Страх и трепет. — М., 1993.
12. Лурман Н. Власть. — М., 2001.
13. Манн Т. Философия Ницше в свете нашего времени // Собрание сочинений. — М., 1961. — Т. 10.
14. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Сочинения. — М., 1990. — Т. 2.
15. Слотердайк П. Критика цинического разума. — Екатеринбург, 2001.
16. Флоренский П. Предполагаемое государственное устройство в будущем // Сочинения. М., 1996. — Т. 2.
17. Франк С. Крушение кумиров // Сочинения. — М., 1990.
18. Шмитт К. Диктатура. — СПб., 2005.
19. Шмитт К. Политический романтизм. — М., 2015.
20. Штернер М. Единственный и его собственность. — Харьков, 1994.
21. Юнгер Ф. Ницше. — М., 2001.
22. Юнгер Э. Через линию // Судьба нигилизма. — СПб., 2006.
23. Ясперс К. Ницше. — СПб., 2004.

*Материал поступил в редакцию 28 января 2016 г.*

### THE FALL OF SOVEREIGNTIES: THE DIVERSE PERSPECTIVE. PART 2.

**ISAEV Igor Andreevich** — Doctor of Law, Professor of the Department of History of the State and Law of the Kutafin Moscow State Law Academy  
kafedra-igp@mail.ru  
123995, Russia, Moscow, ul.Sadovaya-Kudrinskaya, d. 9

**Review.** *The article gives an analysis of the problem that has always remained a topical one, namely, the problem of sovereignty. The author counters this concept with its another manifestation, i.e. independence of the state, and in the process of their counterpoising the author attempts to find out their common features and fundamen-*

<sup>31</sup> Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 2014. С. 88.

*tal differences. The Sovereign, as the subject of sovereignty, can possess both identified and anonymous form, both individual and collective embodiment*

*The article highlights the fictitious nature of sovereign subjectivity that is inherent to the Art Nouveau era when sovereignty substantially changes its content and essence. This process of transformation was marked by such thinkers as Fyodor Dostoevsky, Vladimir Soloviev, Friedrich Nietzsche, and others. A false or fictitious sovereign, even if it has power and authority, is deprived of true legitimacy that cannot be recovered for it by either public opinion or direct violence. Neither mimicry nor manipulation can remedy the situation. Two bodies of the King fall apart and would never unify.*

*A fictitious sovereign presides over a fictitious state, "a phantom state". The substrate of such statehood is "masses", rather than the people, that are connected with each other by means of external authority, coercion and ideology. Independence of the state that is associated with freedom of existence is being absorbed by the force of power with which it turns out to be incompatible. An external law plays much more important part than the internal truth that has traditionally provided the basis for justice.*

*The very justice is replaced by its own metaphor, which is the law. Depersonalized force of law expressed in a willful decision not only limits the scope of independence but replaces it. Sovereignty as the status radiates movement and dynamics. Fictions that were typical for the Art Nouveau era allow to make "unjust laws" that forget about both the truth and justice and aimed at feasibility and efficiency. The sphere of law lacks metaphysical and transcendental provisions that earlier connected it with other higher extralegal instances. Normativizm becomes the dominant ideology of the Art Nouveau era and modernity, giving the law and the sovereignty a brand new look and creating unintended consequences for the life of the rule of law state*

**Keyword:** *Sovereignty, independence of the state, legitimacy, legality, subject, personality, state, legal form, rule of law, justice, truth, le, суверенность, авторитет, легитимность, lawfulness, legality.*

#### REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Agamben D. Sredstva bez celi. — M., 2015.
2. Batler Dzh. Psihika vlasti. — SPb., 2002.
3. Gvardini R. Konec Novogo vremena // Fenomen cheloveka. — M., 1993.
4. Gegel' V. F. Konstitucija Germanii // Politicheskie proizvedeniya. — M., 1978.
5. Gubrecht H. U. V 1926 godu : Na ostrie vremena. — M., 2005.
6. Gurchich G. Sociologiya prava // Filosofiya i sociologiya prava. — SPb., 2004.
7. Delez Zh. Nicshe. — SPb., 1997.
8. Kastoriadis K. Voobrazhaemoe ustanovlenie obshchestva. — M., 2003.
9. Kozhev A. Vvedenie v chtenie Gegel'ya. — SPb., 2003.
10. Kozhev A. Ocherk fenomenologii prava // Ateizm. — M., 2007.
11. K'erkigor S. Strah i trepet. — M., 1993.
12. Lurman N. Vlast'. — M., 2001.
13. Mann T. Filosofiya Nicshe v svete nashego vremena. // Sobranie sochinenij. — M., 1961. — T. 10.
14. Nicshe F. Po tu storonu dobra i zla // Sochineniya. — M., 1990. — T. 2.
15. Sloterdajk P. Kritika cinicheskogo razuma. — Ekaterinburg, 2001.
16. Florenskij P. Predpolagaemoe gosudarstvennoe ustrojstvo v budushhem. // Sochineniya. M., 1996. — T. 2.
17. Frank S. Krushenie kumirov // Sochineniya. — M., 1990.
18. Shmitt K. Diktatura. — SPb., 2005.
19. Shmitt K. Politicheskij romantizm. — M., 2015.
20. Shternern M. Edinstvennyj i ego sobstvennost'. — Har'kov, 1994.
21. Junger F. Nicshe. — M., 2001.
22. Junger Je. Cherez liniju // Sud'ba nigilizma. — SPb., 2006.
23. Jaspers K. Nicshe. — SPb., 2004.